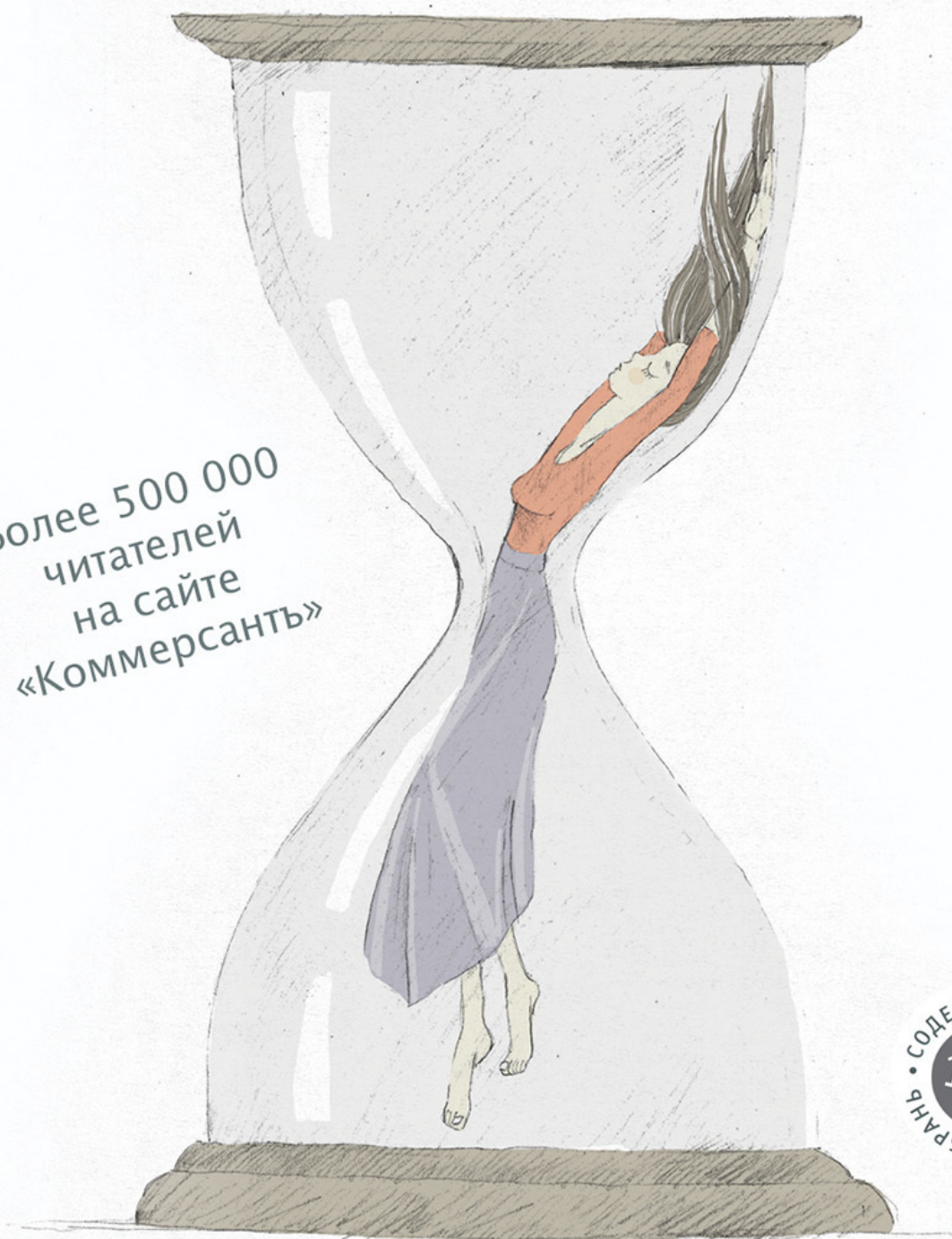


Александр Беленький

МАРИ

Более 500 000
читателей
на сайте
«Коммерсантъ»



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ • 18+

Александр Беленький

Мари

«АСТ»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Беленький А.

Мари / А. Беленький — «АСТ», 2018

Александр Беленький – преподаватель английского языка, переводчик, спортивный обозреватель газет «Советский спорт», «Спорт день за днем», «Спорт-Экспресс», телекомментатор на каналах «Россия-1», «Спорт», «Боец», «Матч ТВ». Известный блогер – более 500 000 читателей на сайте «Коммерсантъ». «Мари» – история, которая могла произойти только в Париже. История мимолетной любви, о которой не забыть никогда.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© Беленький А., 2018
© АСТ, 2018

Александр Беленький

Мари

© Александр Беленький, текст, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Мне надо было удивить Париж. Точнее, пару парижан. Моего приятеля и компаньона, с которым мы тогда занимались бизнесом на французской одежде, и его дочь. А чем я мог их удивить в середине бедных, страшных и веселых 90-х? Что у меня было, чего у них не было?

Я вспомнил, как один бывший спортивный чиновник, много разъезжавший по зарубежью еще в советские времена, рассказывал мне, как в глухие 70-е продавал по ночам черную икру в нью-йоркские рестораны по три тысячи долларов за килограмм, и подумал, что лучше икры ничего не придумаю. Тем более, что за последний год несколько раз был в Париже и знал, что икру там днем с огнем не сыщешь.

По-моему, я купил ее в duty-free в аэропорту, а может, как-то протащил, уже не помню. Надеюсь, теперь меня за это не расстреляют. А если расстреляют, то потом не повесят. Помню, что икры было две банки, и, когда приехал, я эти банки выложил на стол, чувствуя себя как непрощенный и неожиданный родственник из глухой провинции, который привез ненужные, как и он сам, подгнившие в дороге фрукты-овощи.

Однако я попал в яблочко, по крайней мере, с отцом. У Эжена глаза загорелись алчным огнем, а Женни скривила идеально очерченные полные и очень взрослые губы и сказала...

Я не знаю, как я понял, что она сказала, так как французского не знал ни тогда, ни сейчас. Правда, научился неплохо понимать во время своих поездок, но тут я не расшифровывал никаких корней, я просто нутром почувствовал значение сказанных слов – по интонации, хлесткой, как звук выстрела или удар кнута, и абсолютно недетской. Эжен смутился и осторожно спросил меня по-английски:

– Ты понял, что она сказала?

– Что этой икрой вы отметите мой отъезд?

– Да, извини. Ей скоро двенадцать, подростковый возраст, ты понимаешь. Она и со мной так разговаривает.

Из самых лучших побуждений он безбожно врал: с ним она так не разговаривала. Но меня это не слишком волновало. Я понял, что лучше мне будет здесь особо не задерживаться, а пока уходить из дома пораньше, а приходить попозже. Так как это и так соответствовало моим планам, то я не очень огорчился. Сидеть в Париже дома с приятелем и его задиристой дочкой-подростком казалось мне верхом идиотизма.

Я тогда догуливал свою молодость. Точнее, гулял ее, когда она уже прошла. Настоящая молодость была почти полностью истрачена на большие и пустые любви к девушкам, которые не стоили не то что любви, а даже подходов к себе. Правда, все были на редкость красивы, и я тогда не без туповатой гордости думал, что хоть в чем-то обставил всех своих однокашников. Если не количественно, так качественно.

В те давние годы мне было чуть за тридцать, в чем я никак не мог признаться даже себе, а тем более другим, и говорил, что мне двадцать семь. И надо было внимательно следить за тем, чтобы не сказать это тем, кто меня знал в двадцать восемь и в двадцать девять, потому что эти цифры, когда они были актуальны, меня не пугали, и я тогда честно говорил, сколько мне лет, а в тридцать мне стало двадцать семь, и уже какое-то время мой возраст не менялся. Бывают в

жизни и такие чудеса. Ну, как у одной героини Лермонтова из «Княгини Лиговской», которой лет семь подряд было то ли семнадцать, то ли восемнадцать или что-то в этом роде.

Эжен и Женни, кстати, знали, сколько мне, но понятно, что меня это не волновало. Они к моей стремительно убегавшей молодости не имели ни малейшего отношения.

С Эженом мы познакомились, когда мне было двадцать шесть и, соответственно, мне еще нечего было скрывать, тем более, что в этом относительно юном возрасте я был заместителем директора не самого мелкого СП, которых тогда в Москве развелось, как тараканов. Как я им оказался – это отдельная малоинтересная история. Если вкратце, то я сам это называл тогда попыткой стать генералом вражеской армии, и вовсе не для того, чтобы потом с ней напасть на армию собственную и разгромить ее. Ровно наоборот. Родную армию я хотел таким образом обезопасить. А если попроще – то я полагал, что только бизнес даст мне необходимую независимость от всего и от всех, которая с самого детства была моей главной целью.

Наверное, это у нас с Эженом, который со своей внешностью влюбленного в детей учителя младших классов в мире бизнеса смотрелся несколько странно, было общее, и не случайно у нас с ним обнаружился еще и общий интерес к искусству, с чего, собственно, и началась наша дружба, и здесь мне удалось поразить его целых два раза. Сначала знанием коллекции Лувра, а потом тем, что при этом я там никогда не был. Мы сидели в кафе в большом московском отеле, на реконструкцию которого наше СП и пыталось получить подряд. Когда я сказал ему, что никогда не был не то что в Лувре, а даже в Париже и во всей Франции, Эжен был просто в шоке. Сидел, смотрел на меня и хлопал глазами. «Но этого не может быть! – все повторял он. – Не может быть! Ты говоришь о Лувре так, как будто исходил его вдоль и поперек!»

В ответ я рассказал ему историю о каком-то шпионе, уже даже не помню чьем, который по своей легенде происходил из деревни в глубокой провинции той страны, куда его заслали. Так вот, он знал все о каждом доме и каждом проживавшем там человеке, при том что сам там никогда не был.

На Эжена это не произвело никакого впечатления. «Это не то, это профессиональная подготовка, – сказал он, – ты же ничего этого не учил специально».

Нынешние поколения этого не поймут, а в своем я был совсем не уникален. Мы изучали и обожали Европу издали, даже не надеясь когда-либо туда попасть. Внутренний мир во многом заменял нам находившийся под запретом внешний, если он выходил за пределы нашей чудесной родины. У меня тогда было много знакомых со знаниями в области искусства, далеко превосходившими мои собственные. Правда, они все были намного старше меня и гораздо дольше ездили по миру, который весь был внутри их умных и одиноких голов.

Через полгода я перестал быть заместителем директора СП, потому что мне было противно вместе с моими коллегами отечественного производства, сплошь бывшими комсомольскими работниками, обкрадывать наших западных компаньонов, в том числе и Эжена, который первым понял, что не туда влез. К сожалению, это его не спасло. Как это часто бывает, он вылез из одной авантюры только для того, чтобы влезть в другую. Через несколько лет он во что-то еще более неудачно вложил деньги и разорился в дым, а теперь, в том числе и с моей помощью, пытался хоть что-то вернуть.

Однако еще в пору его благополучия я успел съездить к нему в огромный, построенный по замысловатому японскому проекту дом на берегу озера. В тот приезд я и познакомился с Женни. Ей было тогда восемь, и она сочла меня веселой живой игрушкой, с которой и проиграла все время, что я был дома, и я в упор не понимал, почему она так изменила ко мне отношение сейчас. Ну, изменила – и изменила. Какое дело может быть взрослому здоровому мужику, догуливающему молодость, до отношения к нему маленькой девочки? Вот мне и не было.

Знал бы я, что меня ждало.

Мы с Эженом тогда вели переговоры с одной довольно крупной фирмой – производителем одежды. Общаться приходилось с омерзительной стервой, которая потом очень грамотно обманула нас с поставкой, что полностью похерило наш бизнес и привело к цепной реакции, в конце которой я оказался счастливым обладателем ношенных штанов с дырявыми карманами и сумасшедших долгов. А пока эта тварь торговалась, как цыган, продающий краденого коня и при этом считающий, что у него уйма времени, так как он ускакал далеко от тех мест, где его позаимствовал. И вот он стоит перед тобой, улыбаясь тебе в шестьдесят четыре зуба, и нагло задирает цену. Только эта дрянь еще и не улыбалась.

Я собирался обшлепать все дела за пару дней, а остальную неделю провести в Париже, шляясь поочередно по музеям и девушкам, по музеям днем, а по девушкам вечером, что представлялось мне абсолютно идеальным времяпрепровождением, а тут приходилось ездить и улаживать эту смотрящую на тебя, как на кусок дерьма, вечно прищуренную мерзкую злобную бабу, которая в ответ на любое твое самое разумное предложение выдыхала тебе в лицо нешуточный шмоток дыма и говорила: “No way” (Ни за что).

Между прочим, хоть ей и было примерно столько лет, сколько мне сейчас, она была очень красивая, высокая, подтянутая и по-молодежному стройная. Из тех француженок, что выглядят так, как будто не вылезают из спортзала, хотя никогда там не были. К тому же безупречно одевалась, как правило, во что-то черно-белое, что очень шло ей в целом, а особенно к хитро уложенным на маленькой голове абсолютно черным волосам. Может быть, и крашеным, но явно повторявшим натуральный цвет. Однако эротична она при всем при этом была, как шлагбаум, причем опущенный тебе на голову. Чтобы как-то снять напряжение, я постоянно ее изображал так, что смеялся не только Эжен, но даже Женни, которая меня во всех других случаях никак не баловала своей благосклонностью. Но ничего не помогало. Общение с этой бабой действовало на меня настолько гнетуще, что после наших пламенных встреч я пару раз, вместо того чтобы отправиться по девкам и музеям, приезжал домой к Эжену, где меня планомерно изводила уже Женни. Так я оказался зажат между двумя стервами, большой и маленькой.

Если на тряпичной фирме меня очень по-французски презирали за то, что для своего рождения я выбрал не ту страну, то Женни, если не говорила какую-то гадость, реагировала на меня, как на пустое место. Я входил в гостиную, где она смотрела телевизор, и она даже не поворачивала головы. А самое неприятное, что игнорировала она меня не демонстративно, а совершенно искренне.

Иногда она выходила из своей комнаты в одних минимальных трусиках и шла через весь коридор в ванную. Слава тебе Господи, что во мне нет ничего от Гумберта, иначе я сошел бы с ума. Она была высокая для своих лет, длинноногая, с уже прорезавшейся хорошей женской фигурой. Такая натянутая струна, едва начавшая округляться в нужных местах.

У нее было очень красивое слегка вытянутое лицо, с невероятно точно прорисованными крупными чертами, и пухлые губы, о которых я уже говорил, так как о них невозможно было не сказать; и это лицо было старше тела лет на десять. Именно так. Это было даже не лицо девушки лет семнадцати, а скорее, где-то двадцати двух, а то и двадцати пяти. По фотографии я бы столько ей и дал. Большие серо-зеленые глаза жестко смотрели на тебя из-под ресниц, таких длинных и пышных, как будто они были накрашены. Такой взгляд часто называют оценивающим. Может быть и так, но я бы еще добавил, что при этом было ясно, что лично тебя эти глаза оценили в медный грош. И тот ломаный.

Ну а венчала все это копна очень густых и очень тонких темных волос длиной где-то до плеч, через которые нитями пробегали отдельные совсем светлые волоски, придававшие ей какой-то роскошно-ведьмачий вид. Да, еще Женни была немного похожа на Мари Лафоре в расцвете лет, а с годами обещала стать еще более похожей. В общем, она была красавица, причем утонченная. В какой-то момент я к своему ужасу поймал себя на том, что прикидывал,

сколько мне будет лет, когда она войдет в полностью половозрелый и уголовно ненаказуемый возраст.

Эжен, обожавший свою дочь с самого рождения настолько, что фактически дал ей свое имя, по-моему, не очень понимал, что растет у него под боком. Большой вины его в этом не было. Отцам дочерей положено быть идиотами. К тому же, когда он был рядом, она почти всегда, за редким исключением, как в том случае с икрой, вполне убедительно прикидывалась маленькой девочкой. Эжен настолько на это повелся, что каждый вечер вынуждал меня совершать один и тот же обряд: мы шли прощаться с ней на ночь, от чего я каждый раз пытался откочить, потому что чувствовал себя ужасно неловко. Эта маленькая стервочка мгновенно меняла выражение лица в зависимости от того, смотрел на нее отец или нет. Стоило ему отвести глаза, как тут же ее взгляд становился очень взрослым и весело-сучьим, и она как бы невзначай откидывала одеяло, показывая, что спит голой. Я даже заметил, что она продукт позднего созревания, так как у нее еще не начали расти лобковые волосы. По крайней мере мне, старавшемуся не смотреть, так показалось.

Когда я в очередной раз попытался не пойти прощаться с Женни на ночь, я что-то сказал Эжену о том, что его дочь все время очень сознательно пытается меня смутить.

– Ну, что ты, – ответил он, поразив меня в очередной раз все тем же вечным и беспросветным отцовским идиотизмом, – она же еще совсем ребенок.

Ага, ребенок, такая же, как я – Ричард Львиное Сердце. И тут Эжен озадачил меня еще раз:

– Ты знаешь, – сказал он, – меня очень беспокоит одна вещь. Если ей нравится мальчик, она впадает в какой-то ступор, просто теряет дар речи.

Тут настала моя очередь быть идиотом, и я сказал:

– Что-то я на себе этого не заметил.

Эжен улыбнулся самой тонкой французской улыбкой и сказал:

– Ты не мальчик.

И еще не нравлюсь ей, добавил я про себя. Все-таки почему-то меня это огорчало.

Через пару дней мне показалось, что я понял, о чем он говорил. Мы в тот день провели самый тяжелый раунд переговоров с той Большой Стервой и вышли из здания фирмы все обвешанные продыmlенными по-way'ями, как соплями, после чего Эжен поехал куда-то еще по каким-то делам, а я отправился к нему домой, так как эта баба измотала меня и морально, и физически, и уже не в первый раз сил у меня больше ни на что не было. Ни на прогулки по прекрасному весеннему Парижу, ни на музеи, ни на девушек.

Женни открыла мне дверь так, как ее открывают опостылевшей свекрови, с которой уже месяц не разговаривают. То есть просто отвернула ручку или ключ, уж не помню, что там было, и ушла. Распахнул дверь я сам, а когда вошел, в прихожей ее уже не было.

Я повесил куртку и прошел в гостиную. Женни сидела перед телевизором и смотрела «Красотку» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, а я стал смотреть на нее. Да, это было зрелище. Боюсь, я слишком явно пялился на нее, но она все равно не обращала на меня ни малейшего внимания. Я вызывал у нее примерно такой же интерес, как десять лет простоявшая в углу пыльная тумбочка.

Глаза у Женни были как у ягненка, приносимого в жертву, но при этом преисполненного своей великой миссией, прямо дочь Иеффая, и до краев наполнены не вылившимися слезами. В какой-то момент я увидел, что она слово в слово произносит каждую следующую реплику Джулии Робертс до того, как та ее скажет. Больше всего меня удивляло, что она меня совершенно не стесняется. Видимо, я польстил себе, решив, что в ее глазах я был тумбочкой. Я был просто пустым местом. Впрочем, тумбочки тоже не стесняются.

Глаза у Женни были влажными и наливались все больше. Наконец, внутренние источники переполнили их, как дожди реки перед наводнением, и слезы вытекли. На экране шла

какая-то милая пустопорожняя муть, а ее слезы уже образовали тонкие непрерывные ручейки, стекавшие по красивому лицу взрослой девушки на подростковое тело. Я глазам своим не верил. В этот момент пришел Эжен и с порога наорал на Женни за то, что она не делает уроки, а в двухтысячный раз смотрит «Красотку». Он выступил неудачно и неуместно. Женни вскочила, при этом слезы у нее брызнули из глаз фонтанами, как у клоуна в цирке, но это было совсем не смешно, и она молча ушла в свою комнату и больше из нее не вышла за весь вечер. Даже ужинать не пришла.

– Зачем ты так? – спросил я.

Я не помню, что он ответил. Я помню, как он на меня посмотрел. В этом взгляде была такая бездна тревоги за дочь, что мне показалось, что я чего-то не знаю о ней, чего-то такого, что не дает ее отцу спать по ночам.

Да, я же ни слова не сказал о ее матери. Нет, Эжен не был вдовцом и отцом-одиночкой. Он был банально разведен. Женни осталась с ним, на что ее французская мать совершенно не обиделась, а скорее была рада. Я видел ее только раз, но хорошо запомнил.

Почему-то про себя я назвал ее лыжей. Уж не знаю чем, но она действительно была похожа на лыжу, но не короткую и кургузую, как у оленевода, а длинную изящную спортивную лыжу, из тех, которыми пользуются профессионалы на олимпиадах.

Нынешнюю подругу Эжена я тоже знал, она просто на тот момент, как это часто с ней случалось, была в затяжной командировке в Германии, почему я и не особенно их стеснил в их большой квартире в Сен-Клу.

Самое удивительное, что эта подруга была похожа на бывшую жену Эжена почти как две капли воды. Я даже увидел в этом определенную логику. Лыжи ведь как-то существуют не по одной, а парами. Вот у Эжена, который в свое время был инициатором развода, их и было две, только я никогда не понимал, почему он перескочил с одной на другую, потому что похожи они были не только внешне, но и внутренне. Обе немного высокомерные, умные, суховатые, но при этом красивые и женственные.

Тем не менее я их недолюбливал, хотя, конечно, никак этого не показывал, а они относились ко мне, скорее, хорошо. Впрочем, я их обеих очень мало знал. Чтобы Женни не было одиноко без мамы, у нее в комнате висел большой ее портрет. При этом сама мама жила через несколько домов, и Женни почти каждый день к ней ходила и иногда даже оставалась там ночевать, а с моим приездом, как я понял, даже чаще, чем раньше. Все-таки чем-то я ее серьезно бесил.

В конце концов, мне показалось, уж не знаю, правильно или нет, что мной играют в какую-то девичью игру, где мне отвели роль влюбленного дурака, которым постоянно помыкают, а он все топчется где-то рядом, для того чтобы повышать самооценку героини, как Карандышев при Ларисе в «Бесприданнице». Одна мысль, что кто бы то ни было, и уж тем более маленькая девочка, отводит мне такую роль, а на Карандышева я был похож все-таки несколько меньше, чем на Ричарда Львиное Сердце, довела меня до настоящего бешенства, но бесился я только до тех пор, пока мне не стало смешно. Нет, все-таки у этой девчонки был какой-то серьезный взрослый женский талант, если она втянула в эту свою игру уже не самого молодого и не самого неопытного мужика, не страдавшего ни малейшей тягой к лолитам.

На самом деле у меня тогда была довольно серьезная психологическая проблема, смежная с гумбертовской, но никак не противоречившая морали и уголовному кодексу ни одного государства. Мою тридцатилетнюю жизнь крайне осложняло то, что влекло меня исключительно к молодым девчонкам, не старше двадцати двух – двадцати трех, но и не моложе семнадцати-восемнадцати. Так сложилось еще в самой ранней молодости, когда мне самому было семнадцать-восемнадцать, и меня интересовали только ровесницы, а женщины постарше, которым я как раз почему-то часто нравился до того, что они делали мне предложения, от которых я буйно краснел и не знал, куда деться, меня почти не занимали, а чем-то даже пугали. Я-то

их воспринимал как мамок. Ну, на пару лет старше – это ничего, а на десять-пятнадцать – это по моим понятиям был явный перебор, а именно их я почему-то особенно интересовал.

Одну такую сцену я запомнил навсегда. Я тогда был на первом курсе и ехал в институт на метро, когда на переходе вдруг увидел свою преподавательницу, которая стояла, прислонившись спиной к стене и плакала. Ей стало плохо с сердцем. Я ее подхватил и почти понес. Очень скоро ей стало хорошо. Меня тогда впервые поразила скорость перемены женского настроения. Десять минут назад она не могла сдержать слез от боли, а тут вся расцвела, потребовала, чтобы я ее обнял, а то она упадет, и все время норовила задеть меня широко раскачивающимся бедром.

Взвинтило меня это, конечно, прилично, а как иначе, но у меня и мысли не было идти дальше. Она была ровно вдвое старше, и для меня это был почти непреодолимый барьер. Не потому, что я не мог его преодолеть. Чего в семнадцать лет не преодолеешь? А просто не хотел.

Еще я всегда был очень скрытный, и никому ничего не рассказывал о своей жизни, особенно личной, а эта дама по мере приближения к институту прижималась ко мне все плотней и что-то все время говорила мне уже почти в ухо. Слава Богу, благодаря ее медленному шагу мы опаздывали и встретили мало кого.

Между прочим, она была красивая знойная женщина каких-то южных кровей, и многие, оказавшись на моем месте, были бы счастливы, но я уже не знал, как от нее избавиться, а то, что она привела меня в весьма возбужденное состояние, меня просто бесило. У меня только что закончился не самый удачный роман с семнадцатилетней стервочкой-блондинкой с абсолютно ангельским личиком, и начиналась большая любовь с роскошной семнадцатилетней же брюнеткой, тоже не самая счастливая, но определившая все в моей жизни на пару лет вперед, а то и больше, и эта темпераментная, почти пожилая, как я тогда нагло считал, дама в этой молодежной схеме как-то не угадывалась.

Мы наконец дошли до института. Я сказал, что мне надо бежать на пару, и она посмотрела на меня как на конченого придурка, но, кажется, решила, что я все-таки не безнадежен. В перерыве она поймала меня у деканата, бросилась ко мне со словами: «Саша, что же вы так ходите?!» – и стала, глядя мне прямо в глаза, при этом время от времени томно и неторопливо захлопывая и расхлопывая свои собственные красиво подведенные и обведенные темные глаза, подчеркнуто медленно застегивать мне рубашку сверху, а на самом деле щипать меня за волосы на груди. Выражение лица у нее при этом было совершенно постельно-интимное. Я от всего этого пребывал в легком шоке, который утяжелялся с каждой секундой. А она, в отличие от меня, не испытывала ни малейшего смущения.

В те далекие девственные времена подобная раскованность была все-таки в диковинку, и обалдевал не я один, но и все, кто проходил мимо деканата. Среди них оказался преподаватель, с которым у меня сложились дружеские отношения, мои друзья в те времена, в отличие от подруг, как правило, были старше меня. Он ошалело на все это посмотрел, и дама меня очень нехотя отпустила, как будто шаря глазами у меня под рубашкой. Однако через пять минут ко мне подскочил уже тот самый Друг-Преподаватель со словами: «Ты чего теряешься? Такая баба!» Он как-то видел меня с моей новой любовью, столкнулись мы где-то в этом тесном мире, так что был в курсе, и я тут ему это напомнил, на что он ответил, что да, «очень красивая девочка», но «это же совершенно разные вещи» и «ты, уж поверь, тут такого опыта наберешься, что на полжизни вперед хватит». Предложение было дельное, но я был настоящим членом сексуальной пионерской организации, параллелизм я категорически не мог, что я, путаясь в словах, как-то ему и объяснил. Друг-Преподаватель не был пошляком. Он неожиданно посмотрел на меня с глубоким сочувствием и сказал: «Хороший ты парень, но этого никто не оценит».

Надо сказать, что у меня в те далекие годы была абсолютно конфетная внешность, которая самому мне не ахти как нравилась и очень смущала. Я с упоением занимался разными мордобойными видами спорта, абсолютно не представляя себе, как сложится моя жизнь, и

стремясь стать то ли лингвистом с хорошим ударом, то ли искусствоведом, также с хорошим ударом, потому что понимал, что лингвистика и искусствоведение сами по себе меня мало от чего защитят. О том, что хороший удар тоже мало от чего защищает, я узнал значительно позже, а пока я со все возрастающим нетерпением ждал, когда же шрамы исправят и украсят мою сладкую рожу. Как назло, на мне все заживало как на собаке, и даже нос никак не ломался, крепкий оказался. Так что шрамы украсили мою морду только много позже. Разумеется, как раз тогда, когда я перестал этого хотеть. Вообще же, моя внешность, от которой толком не осталось даже фотографий, так как я никогда не любил сниматься, меня интересовала только как оружие даже не в борьбе за женщин вообще, а всегда в борьбе за какую-то одну конкретную женщину, а уж я всегда выбирал такую, чтобы она все мои нервы намотала себя на палец, а потом крутила их вокруг него. Что умел – то умел.

Вот таким мудаком я был в семнадцать лет. Таким и... В общем, не важно. Ну а дальше я выросл, а мои подруги – нет. После армии я как-то быстро огрубел внешне и стал наконец выглядеть на свой возраст. Это не было никакой проблемой, пока дело не стало приближаться ко все тем же проклятым тридцати годам. Какое-то время помогало то, что я никогда не пил, не курил, всегда занимался спортом, по-прежнему время от времени надевал боксерские перчатки, мог в любое время дня и ночи с места пробежать двадцать-тридцать километров. В результате в тридцать, весь из себя такой поклонник здорового образа жизни, я выглядел, как пропитой и прокуренный «двадцатилеток». Раскрывали меня только особо проницательные особи, но со временем их становилось больше, и я боялся, что мои вечные избранницы вот-вот начнут воспринимать меня как папика. Некоторые признаки этой нарастающей опасности я уже заметил. Для вчерашних школьников я со своей мордой в шрамах и первой пробившейся сединой, которую я каждый раз спешно ликвидировал, быстро становился очень-очень взрослым, а так как вкусы и предпочтения у меня упорно не менялись, я все больше беспокоился: а что я дальше-то буду делать?

Так что полуголые проходы Женни по коридору и раскрывания одеяла при «спокойно-ночных» прощаниях меня, слава Богу, никак не возбуждали, так как она была далека от интересовавшего меня возраста, но все больше раздражали, потому что в первом случае меня рассматривали как пустое место, а во втором – просто издевались, понимая, что меня это смущает, и действительно смущало. Особенно потому, что я не мог не видеть, что Женни неизбежно вырастет во взрослую девушку как раз того типа, который мне особенно нравился. Черты лица, правда, на мой вкус, были слегка жестковаты, но любящее выражение лица вполне могло их сгладить, оставалось только добиться его. Однако в том виде, в каком она была сейчас и как себя вела, она меня никак не интересовала.

Зато стоило мне выйти на улицу, как я приходил в какое-то подростковое сексуальное возбуждение. Я понимаю, что обязательно найдется какой-нибудь психолог, который непременно скажет, что вот она – подавленная тяга к Лолите. Дома я якобы подсознательно наложил на нее табу, а стоило оказаться за его пределами, как она давала о себе знать и вырывалась наружу. Ну да. Только... Ну, в общем не торопитесь выносить свое единственно верное суждение.

Однако, что совершенно точно, так это то, что это постоянное возбуждение мне крайне мешало, потому что думать надо было о другом. В то дело, которым мы занимались с Эженом, я собирался вложить все свои деньги, довольно много еще взял в долг на небеспредельный срок, а Большая Стерва все тянула и тянула с ответом.

Как мы тогда решили с Эженом, она одновременно выкручивала руки другому покупателю, а может быть, и не одному, претендовавшему на ту же партию товара, и ждала, кто из нас сломается первым и возьмет ее за ту цену, которую она заломила. Но это был полный по way. Ни я, ни Эжен не сомневались, что такую цену никто не заплатит. Всякие переговоры закончились. Оставалось только ждать. Ну, мы и ждали, терпеливо теряя терпение.

Свободного времени была масса. Половину его я, как обычно в Париже, проводил в том самом Лувре, в который когда-то и не мечтал попасть.

Я часами стоял перед «Джокондой», на которой даже слегка помешался. Вообще-то не тогда, а много раньше, но в тот приезд в Париж это вышло на какой-то новый виток. То, глядя на нее, мне казалось, что я раздваиваюсь, и вот уже два меня ныряют в ее глаза. В другой раз мне привиделось, что она заметила меня издали, впрочем, так было почти всегда, и стала меня контролировать, держа при этом под кожей за ребра.

Как-то раз мне удалось протиснуться сквозь толпу японских туристов (китайских тогда еще не было) поближе и посмотреть на нее в упор. Неожиданно веки Джоконды захлопнулись, и ее глаза, оставаясь двумя глазами, проглотили целиком меня одного. Я отчетливо почувствовал, как втекаю в каждый ее глаз по отдельности, вопреки физике, не разрываясь на части.

В следующий раз обошлось без раздвоения, и я каким-то образом погрузился в них как одно единое целое в другое единое целое, и у меня на двоих с Джокондой осталась одна пара зрачков, которые смотрели в обе стороны: внутрь картины и наружу.

Возможно, мои образы кому-то, кроме меня, и были бы интересны, но лет двадцать спустя меня играючи переплюнул один простой человек из Днепропетровска, знакомый моего друга, который, точнее которая, так как это очень умная и тонкая женщина, рассказала мне об этом.

Этот самый ее знакомый уже довольно зрелого возраста приехал в Париж из Днепропетровска. Походил, побродил по нему и счел, что Париж хоть и немного, но все же интереснее родного Днепра. Сходил он и в Лувр, который в целом тоже произвел на него не самое сильное впечатление. В Днепре такого, конечно, не было, но оно и не особенно было надо.

Образование у него было крайне ограниченное, и до похода в Лувр он знать не знал о существовании «Джоконды». Тем не менее он ее не просто заметил и выделил из всего увиденного, но и сумел достойно рассказать об их встрече тет-а-тет друзьям, с которыми и пришел в Лувр: «Ребята, вы это видели!? Ее заточку?! Я пошел налево – заточка за мной. Я пошел направо – ее заточка тоже направо повернулась. Вот чудеса-то!» Я со своей зауем тут даже рядом не угадываюсь. Это как соревноваться в остроумии с покойным Виктором Черномырдиным. Такое ощущение, что бодаешься со всей ожившей и нацелившейся на тебя народной толщей.

Остаток свободного времени я проводил в городе, одновременно любясь архитектурой и ища приключений, которых всегда хватало в моих зарубежных поездках, но на этот раз они почему-то меня обходили. Я заходил в ресторанчики, где все время заказывал мясо с кровью, которое, как ни странно, до сих пор помню даже не мозгами, а непосредственно языком и зубами, в том числе и теми, которых, увы, больше нет, а вместо них, как могильные камни, остались стоять коронки, на которых только надписей не хватает.

Поглотив мясо, я неизменно переходил на парижские блины, на которые тогда серьезно подсел. При той нервотрепке, в которой я жил, и том количестве километров, которые каждый день отмеривал по Парижу, потолстеть мне все равно не грозило. Но долгое время удавались мне только эстетическая и кулинарная стороны моего путешествия. Бизнес и секс стояли. Да-да, звучит двусмысленно, но именно так двусмысленно все и было.

И вот весь из себя такой двусмысленный я шатался по знакомым парижским архитектурным адресам и обсиживал незнакомые кафе и скамейки. Настроение все больше портилось, от чего я все чаще то насвистывал, то напевал себе под нос песню из фильма «Поздняя встреча» по рассказу Нагибина, правда, с измененной концовкой, который случайно увидел во второй раз прямо перед отъездом. Хороший и абсолютно забытый фильм с Алексеем Баталовым о большой любви, физически продлившейся меньше суток, а духовно – много лет. И песня об ушедшей молодости там была тоже. Хорошая песня «По вечерам у нас играют и поют...», точно отражавшая мое тогдашнее настроение, да и сегодняшнее, пожалуй, тоже.

Забавно сейчас, когда мне почти в два раза больше лет, чем было тогда, об этом вспоминать, но так оно и было. И несмотря ни на что я по-прежнему понимаю себя тогдашнего, уже такого далекого, и не кажусь сам себе идиотом. В некотором смысле мы никогда не бываем больше такими старыми, как в тридцать лет. По сути, это первый возраст, когда мы понимаем, что чего-то очень важного с нами уже больше никогда не будет и что-то никогда не вернется и не повторится. В детстве мы растем и радуемся росту, потом настоящее полностью захлестывает нас, а к тридцати у нас впервые появляется прошлое, по которому можно тосковать. И это новое чувство овладевает нами, кем больше, кем меньше. Мною оно тогда овладело почти целиком.

В общем, я гулял по Парижу и предавался печали, которую заедал мясом с кровью и блинами до тех пор, пока Большая Стерва не сломалась. Это я тогда так думал. Потом выяснилось, что она просто нашла способ нас надуть.

Но тогда мы с Эженом этого не знали и праздновали победу. Женни смотрела на нас, как на нелепых маленьких детей, и права, как вскоре выяснилось, была именно она в свои неполные двенадцать лет. Большая Стерва, эта старая мерзавка, воспользовалась некоторыми невнятными условиями стандартного контракта и всунула нам не совсем тот товар, который мы заказывали, и такого «не совсем того» там оказалась чуть ли не половина.

Когда потом в Москве я это обнаружил, меня просто оторопьхватила. А она еще и нагадила нам с документами. По-моему, просто из желания испортить жизнь за то, что мы не приняли ее изначальных условий, и эта бумажная проблема потом еще больше осложнила продажу.

В общем, едва начав продажу, я быстро понял, что никакой прибыли не будет. И тогда, как и положено любому дураку, я решил отыгаться. Я влез в совершенно новую для себя авантюру и потерял все свое и, так как пришлось занимать, еще довольно много чужого.

И вот тогда я вспомнил, как одновременно давно и недавно в Париже Женни смотрела на нас, точнее, на одного меня, так, как будто все это знала заранее. Странно, но почему-то тогда я не догадался, что она тем взглядом, скорее всего, «повторяла» чьи-то слова, наверное, своей матери, и мне это казалось чуть ли не мистикой.

По-моему, как раз тогда, когда мы опрометчиво радовались победе, неприязнь Женни ко мне достигла апогея. К тому моменту я уже обнаружил, что английский она знает куда лучше, чем делает вид, и понимает почти все, о чем мы говорим с ее отцом. Выражалось это в том, что периодически она вставляла фразочки типа: «Да ни фига у вас не выйдет!» В свою очередь, я все лучше понимал французский на слух, и до меня доходил смысл сказанного ею, а она еще то и дело добавляла что-то и лично в мой крайне нежелательный адрес. В какой-то момент я слегка психанул и спросил: «Что ты на меня взъелась? Я, что, у тебя, кукол украл?» Она пристально посмотрела на меня, как-то особо широко раскрыв глаза, и то ли сделала вид, что не поняла, то ли действительно не поняла.

В одно прекрасное утро во время завтрака на кухне, когда Эжен вышел, Женни, скосив на меня недобрый и красивый глаз, своими недетскими губами сказала что-то вроде того, что надо будет пойти переночевать к матери, раз все переговоры уже давно закончилась, а я все никак не уеду и не дам повода достать икру.

Сказала и стала смотреть на меня: понял или нет. Я понял и сказал ей по-английски: «Не надо тебе куда уходить. Я не приду ночевать». Решение было абсолютно спонтанным и совершенно неожиданным для меня самого. В этот момент вошел Эжен, и я сказал ему то же самое, но без первой части.

– Женщина? Нашел кого-то? – спросил он.

При этом на лице у него, всего такого образованного и утонченного, появилась какая-то глумливо-пошловатая улыбка, с которой почти все мужчины, независимо от интеллектуального уровня, обычно задают такие вопросы.

– Да, – сказал я, стараясь улыбнуться точно так же. Надеюсь, у меня не получилось.

Женни посмотрела на меня... Ну, как она на меня посмотрела? Как когда тебе рассказывают, что кто-то, совсем тебе не интересный, спит с кем-то, интересным тебе еще менее. Это было какое-то тотальное безразличие, которое ни одна женщина не сможет сыграть ни в двенадцать лет, ни в двадцать, ни в тридцать, ни в пятьдесят, ни в семьдесят.

На самом деле я просто хотел переночевать где-нибудь в отеле. Один. Я терпеть не могу проституток, хотя как раз они, в отличие от приличных женщин, мне ничего плохого в жизни не сделали, а что удастся сходу затащить кого-то в кровать... Ну, Франция, вопреки распространенным заблуждениям, это не Германия в этом плане. Кого-то, конечно, затащишь, но, скорее всего, это будет чистый солдатский вариант, который потом вычеркиваешь из памяти, как будто его никогда и не было, или он от собственной ненужности сотрется сам.

Но в то утро это все для меня ничего не значило. Я с облегчением услышал, как за мной захлопнулась дверь, и отправился гулять по Парижу.

Это был необычный день. Не знаю, как это объяснить. День какой-то особенной обостренности чувств, когда ты видишь то, мимо чего в другое время проходишь. К тому моменту я уже давно облазил все любимые районы Парижа, все переулки Маре, по сути чуть ли не единственного квартала, который остался от старого Парижа, весь Иль-де-ла-Сите и окрестности, все парки и сады в центре, не говоря уже о Лувре, и просто шатался без особой цели и направления, получая огромное удовольствие. В том числе потому, что мне не светило закончить этот день в доме, где меня не хотели видеть.

Погода была отличная, очень теплая для середины весны. В упор не помню, было это еще в апреле или в самом начале мая.

Я шел всем на свете довольный и глазел по сторонам. Все меня радовало. Люди в каком-то кафе показались мне почему-то особенно счастливыми, и я свернул туда, просто чтобы посидеть, выпить кофе и съесть кусок здорового багета с маслом. Хлеб хрустел, масло таяло, кофе обжигал, и в ту секунду мне ничего больше было не надо. Я вышел из кафе еще более довольным жизнью и собой, чем вошел в него. Шедшие навстречу люди улыбались мне гораздо чаще, чем обычно. Наверное, мне хоть немного и хоть кого-то, но удавалось заразить своим настроением.

Еще я примечал всех разноплеменных чудиков, всех странных типов, которых в Париже всегда хватает. Они очень разнообразят местный ландшафт, а тогда я к этому еще не успел привыкнуть и, идя по улице, все выискивал их глазами. И, конечно, находил. Одного из них я помню по сей день. Я был в каком-то парке, сел на скамейку не столько от усталости, сколько просто от желания насладиться моментом и никуда не бежать, и тут заметил, как, встав за небольшим фонтаном, самовыражается высокий и худой, как мачта, молодой латиноамериканец.

На нем были черные до металлического блеска брюки, белая рубашка, черный галстук и ярко-сиреневый кашемировый пиджак. Еще у него были очень черные волосы длиной в свесившихся полметра. Он стоял лицом ко мне за своим фонтаном и принимал позы, находившиеся где-то на середине тернистого пути между классическим балетом и фламенко.

Когда я его заметил, он стоял, подняв руки высоким домиком, в верхней части которого средние пальцы касались друг друга. Потом он невероятно медленно, очень плавно, без малейших рывков, повернул голову, пока она не стала точно параллельна его плечам, как на египетских рельефах и росписях, и так замер.

Не знаю, что он хотел изобразить. Возможно, токующего кондора, хотя сомневаюсь, что кондор токует. Не павлин все-таки. Должен, как всякий нормальный хищник, все брать как свое, а не выживать. Впрочем, многое в этой жизни не совсем такое, каким кажется. И гордый кондор как свое берет только падаль, которая одна и интересует его в этой жизни и которую он постоянно ищет, взлетая чуть ли не до стратосферы.

Поначалу латиноамериканец показался мне похожим на другого своего соседа по континенту, не кондора, а здоровенного попугая ару. Тот такой же длинный и горбоносый, да и расцветка пиджака вызывала те же пернатые ассоциации, но потом я решил, что ни один попугай не сможет так долго оставаться неподвижным, словно солдат из почетного караула. Это просто выше его попугайских сил. Да, вот на кого он был похож: на стража у какого-то живодерского святилища злобного индейского божка. То ли на живого, то ли на его каменное изваяние.

Минут через пятнадцать кондор-ара опять очень медленно развел руки в стороны, развесив длинные кисти рук, как грозди винограда. В то же самое время он оторвал одну ногу от земли, согнул в колене и уперся в другое колено подошвой остроносого лакированного ботинка. Так он и остался стоять, как цапля, на одной ноге. Нет, не цапля. Фламинго. Его собственная горбоносость тоже соответствовала именно этому, уже какому по счету, птичьему образу.

Еще через несколько минут, так и простояв не шелохнувшись, лишь ветер чуть колыхал его безупречные портки и отполированные волосы, латиноамериканец слегка, где-то на четверть, повернул голову ко мне. Черные глаза его сверкали на солнце, а лицо светилось царственным верблюжьим самодовольством. Если там где-то рядом цвели нарциссы, они завяли, глядя на него.

Когда мне надоело созерцать это экзотическое пернатое, творившее что-то не очень понятное то ли для одного себя, то ли, наоборот, с целью привлечь максимальное внимание, я встал и пошел дальше.

Шел, как и прежде, не выбирая направления, куда глаза глядят, и жизнь нравилась мне все больше и больше, хотя перед этим казалось, что нравиться еще больше она уже не может.

Еще я помню, что с того момента, как ушел из дома Эжена, я все время чего-то ждал. Это было состояние того сладостного томления и ощущения, что что-то хорошее вот-вот с тобой случится, которое бывает в ранней, еще школьной, молодости, и которое поздновато испытывать, когда тебе за тридцать.

Последнее, что я отчетливо вижу своей памятью, это место где-то недалеко от Пантеона. Наверное, я слишком пристально смотрел на все, что меня так радовало в тот день, а радовало все подряд, так что у меня появилась резь в глазах. Я снял очки, которые не носил постоянно лет до двадцати пяти, и тут же чуть размытые лица женщин вокруг проступили как будто ярче.

Что-то привлекло мое внимание под крышей одного из зданий. Может быть, элемент декора, который я теперь не мог разглядеть отчетливо, или что-то еще в этом роде, я поднял голову, и тут же задел плечом девушку. Я сказал “pardon” раньше, чем оглянулся на нее, а когда оглянулся, увидел, что она тоже оглянулась, что она красивая, что она смеется и что ее мягкий, какой-то ласкающий взгляд почему-то прошивает меня насквозь и гладит под одеждой. И все это как-то мгновенно, и все вместе. У нее были большие глаза и мягкие черты лица. Этим, кстати, она была совершенно не похожа на Женни. Правда, об этом я подумал не тогда, а много позже. Тогда я просто стоял и смотрел на нее, как дурак. Уже пропавший, уже влюбленный, хотя еще и не осознавший этого. Или, наоборот, осознавший, но не всем собой, а только какой-то тайной своей частью.

Тут порыв ветра поднял прядь ее длинных темных волос, и все разбросанные мозаичные камушки в одну секунду сложились в картину.

Я вдруг сразу очень отчетливо и как-то пронзительно в то самое короткое-короткое мгновение почувствовал, что и она сама, и эти волосы сыграют какую-то важную роль в моей жизни. Что я не просто так здесь оказался, и эта девушка – не просто приключение, и все улицы, и даже все встреченные мной сегодня люди, даже этот латиноамериканец, вели меня сюда. Ну конечно, если бы я прошел мимо него и не отсмотрел его пантомиму с фонтаном, я бы оказался здесь раньше и не столкнулся бы с этой девушкой.

Несколько секунд мы стояли, смотрели друг на друга и неизвестно чему и почему смеялись, а проходившие мимо люди, по большей части совсем молодые, хорошо улыбались, глядя на нас.

Она была какая-то трогательно тонкая. Она стояла, согнув правую ногу в колене и склонив голову влево. Она казалась хрупкой, как стеклянная статуэтка, и эта неустойчивая поза придавала ей, и без того очень красивой, бездну очарования. Кто-то из проходивших что-то бросил ей на ходу, я не понял, что он сказал. Даже не вполне уверен, что это был парень, а не девушка, или их вообще было двое, и каждый из них сказал что-то свое.

Она ответила... Я бы сказал – задорно, но это не то. Задорно отвечает молодая кобылка, когда ты хлопнул ее по заднице, а она тебе говорит что-то вроде: «Но-но, не лезь!» – своим тоном приглашая лезть дальше. Как можно дальше и как можно быстрее. Но это была не кобылка. Это был ангел. Тонкий, хрупкий, длинноволосый и длинноногий ангел в короткой юбке, черных колготках и распахнутом легком пальто.

В общем, она ответила этому кому-то, кого я не разглядел в толпе, и в ее голосе и в бесподобно красивых французских словах было что-то от быстрого и ловкого движения, которым котенок пытается лапой достать протянутую ему игрушку. Слов я опять не понял, но понял, что она сказала обо мне, и что-то хорошее. И она по-прежнему смотрела на меня и уже не смеялась, а улыбалась. Не знаю, как это объяснить, но ее мягкий взгляд я ощутил телом. А, ну да, я ведь это уже говорил.

Я почувствовал, что надо что-то сказать, чтобы не оборвалась эта нить. Я подошел к ней, контуры ее лица и фигуры, размытые моей легкой близорукостью, стали четкими, сделав ее не менее, как это обычно бывает, а еще более красивой. Глаза у нее как-то особенно ярко выделялись на бледном, но не нездорово бледном, лице. Я мягко взял ее за рукав пальто, за руку было нельзя, я это понял, и сказал то, что думал, может быть потому, что ничего другого в тот момент сказать не мог: «Ты красивая». Хотел по-французски, но не вспомнил, как это будет, и сказал по-английски.

По ее лицу, как облачко по небу, пробежало разочарование. Не то, которое убивает все и сразу, а то, что лишь немного портит в целом очень приятную картину, как неожиданно капнувшая тебе на лицо дождевая капля.

– Ты англичанин? – спросила она с не очень сильным, но, как всегда, явным французским акцентом, которым когда-то страшно гордилась одна моя институтская преподавательница.

– Нет, русский. Русский еврей, если быть точным.

Да-да, так и сказал: «No, Russian. A Russian Jew to be more exact». Последнее уточнение не произвело на нее никакого впечатления. По-моему, она его даже не расслышала, а я за границей просто всегда это говорю, потому что устал объяснять, почему я так не похож на русского. Впрочем, на англичанина я похож не больше, но это никому не мешает меня за него принимать. Такое впечатление, что о русских у всех сложилось более-менее определенное представление, в которое я никак не вписываюсь.

– Да ладно, русский! С таким прононсом? Вы, англичане, – приколисты, – последнее слово она сказала по-французски. Я его, разумеется, не знал, но, думаю, расшифровал правильно.

– А что, англичане плохо обошлись с твоей прапрапрабабушкой, придя в Париж после Ватерлоо, что ты их так не любишь? – спросил я, одновременно думая, что по-русски я бы этого почему-то никогда не сказал. Иностраный язык, как бы хорошо ты его ни знал, дает тебе какую-то отстраненность от себя самого, ты перестаешь себя стесняться, говоришь, что хочешь, даже не задумываясь, глупо это или умно, это ведь как бы не совсем ты говоришь, хотя, если вдуматься, это как раз ты и есть. Это как путь к себе через чужое.

Она опять засмеялась, и теперь ее смех как будто прошелся слабым током по всему моему телу, и сказала:

– Да нет, ты просто говоришь, точно как наш преподаватель английского, а он англичанин.

Впервые в жизни мне не хотелось хвастаться и говорить, что я по образованию лингвист, фонетист и после небольшой практики могу говорить с любым акцентом. Сейчас разговор о моих талантах был бы явно ни к месту.

Я в то время, как всякий навсегда запуганный советский гражданин, оказавшись за границей, не расставался с паспортом. Я его достал и показал ей, даже открыл, в самую последнюю секунду вспомнив, что надо пальцем прикрыть строку с датой рождения. Она тут же отчетливо кошачьим движением отвела мой палец, от чего меня пробило током посильнее, чуть колени не подломились, и сказала:

– Ты не такой старый, чтобы это прятать... Да, правда, русский. – Голос у нее был довольный. Как я понял, не от любви к моей великой родине, а от всей этой игры, которая завязалась между нами и, совершенно точно, нравилась обоим. Ну а я чувствовал себя так, как будто меня очень ласково погладили уже даже не под одеждой, а под кожей.

– Тебя как зовут? – спросил я наконец то, с чего принято начинать.

– У меня очень особенное имя, – сказала она, – меня зовут Мари!

Она произнесла английское «special» по-французски и как-то очень женственно, сместив ударение и смягчив «л», и мне показалось, что я сейчас просто сгребу ее в охапку, ощутив каждой своей клеточкой все ее хрупкое тело, и прижму к себе так, чтобы она никогда и никуда больше не могла от меня уйти.

– Давай пойдем куда-нибудь... Мари, – сказал я, чувствуя, что сейчас все, что скопилось во мне за мою холостую неделю в Париже, вырвется наружу и затопит штаны. Это было так странно и так неожиданно для меня самого, и в этом было очень много всего, кроме половой тоски, которой, конечно, тоже хватало, но она никак не была главной.

– Что у тебя с голосом? – спросила Мари, как-то хитро и весело посмотрев на меня.

– Простыл немного, – ответил я, стараясь хоть сам себе немного поверить, чтобы звучать немного убедительнее.

И мы пошли. Я искоса посматривал на нее. Я сразу принял ее всю целиком, не вдаваясь в подробности, но сейчас мне очень захотелось ее рассмотреть. Наверное, женщина может так рассматривать уже принадлежащий ей бриллиант.

Она была примерно с меня ростом или чуть ниже. Гибкая как прут, с тонкими длинными руками, которые у нее жили своей самостоятельной жизнью, не очень активной, но по-балетному красивой. Большие глаза, хоть убей, не помню, какого цвета. И дело здесь не в моей короткой памяти, а в том, что я ее все время видел при разном освещении. То они были темными, то зелеными, то серыми, то голубоватыми. И каждый раз мне казалось, что вот этот цвет настоящий, подлинный, а те цвета, что были раньше, – обман зрения, освещения или моего собственного воображения. В общем, они у нее были изменчивого парижского цвета, так как ночной Париж все время меняет цвета, а я озаботился цветом ее глаз, только когда уже стемнело. При солнечном свете меня это почему-то вообще не волновало. Ее взгляд обволакивал меня, и это было куда важнее цвета глаз.

У нее были длинные веселые ноги, которыми она все время что-то приплясывала на ходу. Что еще? Тонкие черты лица. Тонкие, тонкая... В моей памяти это слово во всех его вариантах просто срослось с Мари. Тонкая. Такая она и была. Полные губы, которые она явно считала главным украшением своего лица, хотя глаза были еще лучше, и длинные черные спутанные, но при этом очень чистые волосы, что явно указывало на то, что легкий бардак на голове был тщательно продуман и, возможно даже, заботливо уложен. Милая хитрость, свойственная даже самым во всем остальном бесхитростным женщинам, которые на свою беду не умеют ничего скрывать, особенно от мужиков, которые им нравятся.

При этом, в отличие от Женни с ее узким лицом и резковатыми чертами, в Мари не было ничего общего с действительно красивым, но совсем не моим, воспетым кинематографом типом глазасто-губастой, прокуренной до пяток французской роковой женщины. Черты лица более мягкие и что-то еще, чему я не могу найти определение.

Пальто скрывало ее фигуру, но мне почему-то было совершенно безразлично, какая у нее грудь. Она мне была нужна с любой грудью. Когда я довольно скоро поймал себя на этом, мне стало крепко не по себе. В тридцать лет я себя уже достаточно хорошо знал и помнил, что такое безразличие к анатомии – признак бесцеремонно, без спросу и без разрешения, наваливающейся на тебя и все в тебе ломающей любви. Все шло как-то очень быстро. Даже для меня с моими вечными непрошенными страстями.

Метров через сто я спросил Мари:

– Слушай, а куда мы идем?

– А я не знаю! – ответила она и опять засмеялась. И я тоже. За последние несколько минут я смеялся больше, чем за всю предыдущую неделю в Париже.

– Идеи есть? – спросила Мари. – Ты что-нибудь в Париже любишь?

– Да все как-то люблю, – сказал я и чуть не добавил: «Вот и тебя уже люблю», но вместо этого сказал: – Давай в Маре поедем.

Мари пристально посмотрела на меня, словно радуясь, что не ошиблась во мне. Думаю, я правильно расшифровал этот взгляд. К тому, что происходит между мужчиной и женщиной, он не имеет отношения, разве что самое косвенное. Это хороший взгляд местного на приезжего. Если ты скажешь парижанину, что любишь Нотр-Дам или Елисейские поля, это ничего о тебе не говорит. Ты можешь быть и интеллектуалом, и бараном. Если ты скажешь, что любишь Маре и Площадь Вогезов, это значит, что у тебя есть свой вкус и свои действительно любимые места, свой собственный, не вытасканный из путеводителя Париж.

Абсолютно не помню, как мы добрались до Маре. Это был только первый из множества переездов-перебегов в тот вечер, и еще Маре – последнее место, которое я могу четко идентифицировать в своей памяти. Где мы после этого были – понятия не имею. В Париже.

Еще помню, что в Маре нас обоих вдруг постигло запоздалое смущение за наше скоропалительное знакомство. Мы шли рядом, то расходясь на метр, то сходясь и касаясь рукавами, посматривали друг на друга искоса и по очереди начинали смеяться, каждый раз подхватывая смех друг друга, но неловкость почему-то не уходила. Она стала в нашей компании третьей. Третьей лишней, от которой никак не избавишься.

И тогда я вспомнил самовыражавшегося в паре с фонтаном сына Латинской Америки, но у меня не было ни его пластических талантов, ни его костюма. Зато было что-то другое.

– Стой! – сказал я.

Мари остановилась. Я встал рядом, взял ее за руку и сказал:

– Подними ногу!

Мари меня не поняла, но подняла левую ногу вслед за мной, с веселым недоумением, поглядывая мне в лицо.

– А теперь прыгай!

Она опять не поняла, но с секундной задержкой прыгнула вслед за мной, а потом расмеялась так, что упала бы, если бы я ее не поддержал. Мы запрыгали вместе и так, держа друг друга за руки, прыгнули вперед на одной ноге раз двадцать, а потом раз двадцать на другой. Весенний Париж располагает к таким вещам. Кто там был, и особенно кто не был, меня поймет, потому что мечта всегда больше реальности. Поэтому Париж, когда я попал в него впервые за пару лет до этого, меня разочаровал. Мне понадобилось съездить в него несколько раз, чтобы вернуть то ощущение земли счастливой и обетованной, которое он рождал у меня в детстве из своего невозможного далека.

Люди, смеясь, расступались перед нами. Закончилось все тем, что мы остановились, повернулись друг к другу, я обнял Мари, почувствовав сквозь мягкую ткань легкого пальто ее тело, которое под моими руками сначала напряглось, а потом расслабилось. И также изменилось выражение ее лица, ее глаз, и неловкость ушла. Стан у нее оказался еще тоньше, чем я думал, и мне почему-то стало ее невыносимо жалко. За что? Почему? Жалеть девушку за стройность нелепо, но со мной так было всегда. Я всегда особенно сильно влюблялся через жалость. Я находил, за что пожалеть любую красавицу.

Дальше мы пошли в обнимку, и я думал, что вот рядом со мной идет чужая жизнь, которая так неожиданно для меня самого, за час, за два часа, не знаю за сколько, но невозможно быстро стала моей собственной, и что еще утром этого всего не было и, казалось, не могло быть.

– Ты есть хочешь? – спросил я, пытаюсь обрести какую-то твердую почву под ногами, а что может быть почвеннее еды?

– Да. С утра ничего не ела, – весело ответила Мари.

– Тогда пошли, – сказал я.

Мы как раз вышли на Площадь Вогезов.

– Тут очень дорого, – сказала Мари.

– Потянем как-нибудь, – сказал я и почти затащил ее за столик на улице.

Шустрый официант, увидевший, что девушка может меня увести, нарисовался тут же, выскочив, как чертик на пружинке из коробочки с кнопкой, уже с меню в руках и весь радостно готовый к услугам, но при этом без лишнего лакейства. В общем, такой правильный французский официант.

Я ему быстро сказал, что хочу стейк bleu, «синий». Это практически сырое мясо, лишь чуть обжаренное с обеих сторон. Официант, как это часто со мной бывало, спросил, знает ли месье, что он заказывает. Месье, как всегда, знал.

Почему-то французы не ждут такого заказа от иностранца. В любой кухне есть блюда, которые местные считают только своими собственными. Это не водка со щами и даже не фуа-гра. Это для внутреннего пользования своими, да и то очень немногими. Теми, кто может оценить. Ни в одном языке, который я хоть как-то знаю, нет такого однословного эквивалента этому французскому bleu в сочетании с мясом. Английское blue rare – это, во-первых, два слова, а во-вторых, явная калька с французского. Впрочем, тогда мне было совсем не до мяса и языковых тонкостей и изысков, хотя я был голоден, как черт.

Мари долго смотрела в меню и при этом шевелила губами, и я вдруг понял, что она собирается заплатить за себя сама и выбирает что-то подешевле. Я тогда по понятным причинам неплохо разбирался в одежде, особенно в ценах на нее, я глянул на ее пальто, как будто снова в одну секунду ощутив пальцами ее тело под ним. Этого этапа я миновать не мог при всем желании. Но почти тут же это ощущение ушло, и я в первый раз посмотрел не на Мари, а на то, что было на ней надето. Пальто было красивое и элегантное, но недорогое. У меня что-то защемило от этого, и тут же снова вернулось чувство, что я держу ее в своих руках, а между ней и мной – только это пальто, которого на самом деле и нет вовсе.

– Послушай, я вчера сделал хорошие деньги, – сказал я, имея в виду «победу» над Большой Стервой. Как же я, идиот, ошибался, я уже сделал необратимый шаг к своему краху и даже не мог себе представить, к какому глубокому, а думал, что победил, но какое это имело тогда значение? – Так что давай поедим по-настоящему.

Мари тогда, как-то смущенно улынувшись, от чего я тут же воспламенился, как промасленный фитиль от поднесенного огня, только огонь был во мне самом, я был фитилем самовоспламеняющимся, отложила меню и тоже заказала стейк, но rouge, «красный», то есть обычный, с кровью.

Не знаю, может быть, я пытаюсь быть слишком умным, но мне кажется, что женщины в компании с мужиками, которые им нравятся, часто заказывают то же, что и они, просто

потому, что думают в этот момент не о еде. Я тогда так и понял это как очень хороший для меня признак.

Пока мы ждали наш заказ, Мари очень приметным жестом своей узкой красивой ладонью с длинными пальцами отмахнулась от дыма, который принесло от какого-то из соседних столов. Сама того не зная, она ответила на мой вопрос, который нешуточно мучил меня все время с момента нашей встречи.

Даже не знаю, с чего начать этот стриптиз.

Мужчиной я себя ощущал, сколько себя помню. В том смысле, что женщина вызывала у меня волнение, до поры до времени мне самому не очень понятное, во всем теле. Само ее присутствие, каждое движение, каждый ее взгляд, особенно, если он был направлен в мою сторону. А если нравившаяся мне женщина курила, это волнение переходило в нешуточную, хоть и чисто психологическую, боль. В ней было много возбуждения, но сама боль была больше и сильнее этой своей возбужденной части.

Все мои любви не курили, по крайней мере, пока были со мной. У большинства это было чуть ли не единственное их достоинство. Другие курили, но это были не любви.

Одна, безмерно проникательная девушка, из тех очень немногих, кто был хоть чуть-чуть старше меня, которая за пару месяцев нашего романа расшифровала меня целиком, разгадала и этот мой пунктик и как-то сказала, вызвав у меня некоторый шок: «Тебе нет до меня дела, раз тебе все равно, что я курю». И она была права, но я от этих ее слов почувствовал себя так, будто она заглянула в какой-то мой абсолютно тайный заповедный угол. Очень неприятное ощущение, надо сказать.

Как-то на первом курсе института мне до смерти понравилась одна девчонка, и я, улучив момент, залез ей в сумку, проверить, нет ли там сигарет. Мы в большой компании в студенческом театре, куда я только пришел, собирались провести полдня, и я все равно узнал бы это, но ждать не мог. Вот не мог. Мы еще были едва знакомы, и я рисковал, что меня заподозрят в том, что я полез в ее сумку за деньгами, а у нас в институте кто-то крепко подворовывал, но и это меня не остановило. Я оказался один в комнате, где мы побросали свои вещи, положился на хороший слух и общее обостренное чутье и залез в брошенную ей сумку. Сигареты там были. У меня все упало. Во всех смыслах.

С самого момента нашей встречи я все не знал, как спросить Мари о том, что меня так волновало. Я ловил ее дыхание. Оно было свежим и чистым, но это еще ни о чем не говорило. От одежды тоже ничем не пахло, что меня особенно успокаивало.

Когда она, уже сидя в ресторане, полезла в свою сумку, во мне все замерло, но она просто достала какую-то тетрадь, успокоилась, что она на месте, и сунула ее обратно. Некурящих французов не так мало, как можно подумать, посмотрев их фильмы, и шансы на то, что Мари не курит, росли с каждой минутой. И вот я получил ответ.

У меня потемнело в глазах, и я опять побоялся, что меня сейчас прорвет. Но, к счастью, не прорвало. Впрочем, это как сказать. Я, не очень соображая, что делаю, потянулся к Мари, взял ее за руку и чуть-чуть сжал, а потом поднес к губам, вызвав ее изумленный и радостный взгляд. В первый раз я тогда коснулся ее губами. И коснулся не губ, а руки. Я хотел что-то сказать, уже рот открыл, но у меня совсем дыхание сперло, и я только издал какой-то длинный мычащий звук.

Это было так неожиданно для меня самого и так смешно, что... нет, мы не залились смехом, мы залили своим смехом все вокруг. Люди, которые сидели рядом, засмеялись, по-моему, даже не очень понимая, над чем они смеются, а одна женщина моих тогдашних лет, которая, по-моему, как раз все расслышала и поняла, сделала какой-то жест, очень французский и предназначенный для меня.

Совершенно не помню, какой именно, но я его расшифровал как одобрение моего выбора и моей страсти, вылившейся в это мычание. Мари это тоже заметила и, в отличие от меня,

наверное, поняла его полнее, покраснела и еще раз рассмеялась, теперь уже как-то совсем смущенно. Бог ты мой, мы были знакомы час, может, чуть больше, а она уже стала частью моей жизни. Ах, да. Я уже об этом говорил. Но я все время открывал это для себя заново.

Потом мы впились каждый в свой кусок мяса. Она с сомнением посмотрела на мой и спросила: «Как ты это ешь? Он же **СОВСЕМ** сырой». «А ты попробуй, вкусно», – сказал я и протянул ей кусок мяса на своей вилке, которая в тот же момент, пока шла от меня к Мари, стала продолжением моей руки. Я чувствовал эту вилку как свои пальцы и ждал, когда она обхватит губами эту вилку, эти самые мои удлинившиеся пальцы, и зубами стащит розовый от крови кусок мяса, несколько капель с которого упали на стол, как первые капли дождя, предвещающие ливень и грозу.

Так все и вышло. Наверное, в этот момент и решилась судьба того дня, той ночи и той жизни заодно. Мари опять каким-то кошачьим движением обхватила губами мои железные, но очень чувствительные пальцы и зубами медленно стащила с них кусок мяса, и замерла, как будто запоздало подумала, что этого, наверное, не стоило делать. Я смотрел на ее губы, на капельку крови на них, подождал, пока она ее слижет, и в тот же момент случайно коснулся под столом ее ноги, и меня опять чуть не скрутило от спазма в паху.

Если бы я писал о себе в третьем лице, я бы, наверное, придумал, какое у меня было выражение лица в тот момент, но я не знаю, какое оно у меня было. Я увидел только его отражение на лице Мари, в ее взгляде. Это было что-то вроде радостного испуга.

Наверное, я многовато говорю о себе и маловато о ней, но я просто не знаю, что думала Мари. Я даже не всегда был уверен в том, что именно она сказала, потому что она то и дело переходила на французский, что я понимал как знак, что все больше становлюсь ей не чужим, и я больше догадывался, что она говорит, чем понимал, и мне это нравилось. Нравилось додумывать сказанное.

Ну, а этот взгляд был знаком мне с детства, лет с пяти. Нет, я не предавался разврату в детском саду. Я млел, когда ко мне близко подходила девочка по имени Ира, а еще больше, когда подходила Оля, и уж совсем растекался по полу, когда подходила Кира, моя первая большая любовь. Ее вскоре забрали из нашего детского сада, и это стало первой драмой в моей личной жизни.

Я ходил по комнате неприкаянный и ни с кем не общался. Воспитательницу это даже напугало, она что-то сказала маме, та спросила, что со мной, но я, конечно, не сказал. Точнее, сказал какую-то ерунду, которую говорят дети, когда хотят что-то скрыть. Моя умная и добрая мама посмотрела на меня и, по-моему, все поняла, потому что позже, когда я так себя вел, неизменно говорила: «Влюблен ты опять, что ли?» – и всегда попадала в точку, но тогда она, слава Богу, ничего не сказала. Видимо, поняла в свои невероятно зрелые, как мне тогда казалось, двадцать девять лет, что я еще не готов к тому, чтобы меня так раскрывали.

Так в пять лет я узнал, что такое любовная тоска, и с тех пор это чувство никогда не было для меня новым.

Но этот взгляд я впервые увидел не в детском саду, а в Парке культуры, примерно тогда же или, может быть, на год позже. Там был аттракцион, на который мне ход был заказан. Да я бы и сам на него тогда не пошел ни за какие коврижки. Туда не пускали детей моложе двенадцати или чего-то в этом роде. А тех, кого пускали, сажали во что-то вроде лодки, привязывали брезентовыми, на самом деле, наверное, кожаными, но покрытыми брезентом и казавшимися очень ненадежными и как будто созданными как раз для того, чтобы лопнуть в самый неподходящий момент, ремнями, лодка раскачивалась, как качели, а потом взмывала в воздух и совершала переворот на 360 градусов и крутилась так какое-то время.

В очереди на этот полет вверх тормашками стояло несколько десятков девчонок и мальчишек, которые все наперебой рассказывали друг другу, как они не боятся, и даже мне, пятилетнему, было ясно, что они врут.

Я перевел взгляд с героев, которым еще только предстояло испытание, на тех, кого уже испытывали. На переднем сиденье «лодки» сидела очень красивая девочка, показавшаяся мне почти взрослой. Конечно, она же была раза в два старше меня. И вот, когда лодка стала совершать полный оборот, на ее очень бледном лице появилось такое же выражение, какое сейчас я увидел у Мари, и которое наполнило меня немыслимой гордостью. Если такая красивая девушка смотрит на тебя так, как будто ты перевернул ее вверх ногами, доставив ей такое испуганное счастье, значит, ты не зря пришел в этот прекрасный мир. По крайней мере ты его не испортил, а наоборот, украсил, не собой, конечно, что ты можешь собой украсить, а вот этим ее взглядом.

Выйдя из ресторана, мы сделали пару кругов по Площади Вогезов, на которой я помещался давно и сразу, а потом еще долго ходили по Маре. Я тогда не знал названия ни одного из особняков там, а Мари знала и показывала мне те, которые ей самой нравились больше всех, но зато я мог сказать, когда любой из них был построен, что ее безмерно удивило, и она спросила, все ли мы такие образованные в России.

Мы давно шли в обнимку, и я все время пальцами чувствовал ее тело сквозь пальто и чувствовал на себе ее руку. Эти перекрещенные за нашими спинами руки стали проводниками между нами, через которые проходил ток. А сверху, уже с помощью беспроводного телеграфа, мы делали то же самое глазами. Мы смотрели не на, а в. Мы входили друг в друга своими взглядами. Я чувствовал, как во мне разбредается взгляд Мари, и чувствовал, как мой расходится по всему ее лицу и телу. И так было все время. Даже во время умных разговоров об архитектуре Маре. И конечно, я давно знал, чем этот вечер закончится, но понятия не имел, где и как.

А еще вокруг был Париж, без которого, как я тогда думал, я больше никогда не смогу жить.

Вообще, Париж без женщины и Париж с женщиной – это два разных города. Звучит пошло, но это совсем не пошлая правда. Да-да, наверное, это можно сказать о любом городе, но Париж в этом плане – особенный. Впрочем, как и во многих других.

В одном из закрытых дворов мы каким-то чудом оказались одни. Я, неожиданно для самого себя, даже не обнял Мари, а сгреб в охапку, как хотел сделать, едва увидев ее, прижал к себе и стал гладить по волосам. В первую секунду она слегка отпрянула от меня, почувствовав мой взвинченный нижний этаж, но потом посмотрела на меня, как пойманная птичка. «Ты красивый», – сказала Мари. Она сказала не handsome, а beautiful, но я в тот день был не склонен исправлять грамматические ошибки. У меня снова заломило в паху. На этот раз так, что я застонал. «Тихо ты», – сказала Мари по-французски, как-то испуганно засмеявшись, и я почувствовал, что мы уже во дворе не одни.

Я оглянулся, но увидел только размытые повернутые к нам лица. Насколько я мог разобрать, вполне нас одобрявшие. Я ведь был без очков. И сквозь густой туман в голове, легкий – перед глазами и боль в паху я подумал, что здорово, что я снял очки. Обороты, которые мне сегодня предстояли, были явно не для очкариков.

Дальше какой-то кусок просто выпадает у меня из памяти. Я помню только первые признаки сумерек, зажегшиеся фонари и почему-то как будто сквозь их свет ее тело под пальто, как его ощущали мои пальцы. И опять этот взгляд пойманной птички. Я потом долго думал о том, что он означал. Не знаю. Может, кто подскажет.

Вообще в тот вечер я был галантен, как никогда. За все время я ни разу даже не попытался коснуться груди Мари, и рука моя не съезжала с ее талии на бедра. Я боялся что-то сломать, что-то разбить. Что-то такое, чего у меня никогда не было, и я просто не знал, как с этим хрупким сокровищем обращаться. Опыта не хватало. Опыт был совершенно другой, и он ровным счетом ничем мне здесь не помогал.

Мы свернули в очередной переулок. Даже не знаю, мы тогда уже вышли из Маре или были где-то на его окраине. Я повернулся к Мари. Весь вечер она шла справа от меня, а сейчас почему-то слева. Господи, вот почему в память врезается такая ерунда? Какая разница, с какой стороны она шла, справа или слева? Я повернулся к ней. Уже чуть-чуть стемнело. Я любовался ее лицом, обрамленным этими великолепными волосами, и ощутил невыносимое желание влезть в нее не частью себя, а всем собой. Мы были знакомы несколько часов, а я был влюблен уже даже не по уши. Я давно провалился в этот омут вместе с ушами. Я был влюблен в парижскую девочку лет на десять, а то и больше, моложе меня, которую едва знал, и которая не понимала половину того, что я говорил, и которую я сам понимал не лучше, и постоянно домысливал, что она мне сказала.

В какой-то момент я испугался. Собственно, испугался я давно, но теперь этот страх прорвался, как лава из вулкана. У меня был приличный опыт несчастных любовей, и я не хотел повторения ничего подобного. К тому дню со мной уже лет пять, а то и больше ничего даже отдаленно похожего не случилось, и я прекрасно жил, а тут вдруг снова навалилось.

Но извержение моего трусливого вулкана быстро закончилось. Голос разума всегда звучал в моей голове, но он никогда не был ни самым громким, ни решающим и определяющим. Я выбросил эти мысли, как выбрасывают фантик в урну. Уже немного стемнело. Мари шла слева, я чувствовал ее тело рукой, которой обнимал ее, я смотрел ей в лицо и абсолютно ничего не видел перед собой, я вообще ничего не видел и не слышал, а она как раз смотрела не на меня, а вперед, причем как-то напряженно, и тут вдруг ее глаза так расширились, что белки стали видны и сверху, и снизу ее зрачков. И в ту же секунду кто-то сильно и явно специально толкнул меня в правое плечо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.